Садок Судей



9 рисунков fecit Владиміра Бурлюка.

Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы—
О, не жалей недовиденнаго сна—
И вытащат взглянуть
На розовое солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! легко.

Каменскій Василій.

Жить чудесно.

Op. 1.

Туманом розовым
Вздохни. Еще вздохни,
Взгляни на кроткія слезинки
Детей—цветов.
Ты—эти слезы назови:
Росинки-радостинки!
И улыбнись им ясным
Утренним приветом.
Радуйся! оне для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
В жаркій полдень
Тебя позовут гостить
Лесныя тени.
На добрыя, протянутыя
Чернолапы садись, и обними
Шершавый ствол, как мать.
Пить захочешь—
Тут журчеек чурлит—
Ты только наклонись.
Радуйся! Он для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
Вечерняя тихая ласка,
Как любимая сказка,
Усадит тебя на крутой бережок.

Посмотри, как дружок
За дружочком отразились
Грусточки в воде.
И кивают. Кому?
Может быть, бороде,
Что трясется в зеленой воде.
Тихо-грустно. Только шепчут
Нежныя тайны свои
Шелесточки-листочки.
Жить чудесно! Подумай:
Теплая ночь развернет
Пред тобой синетемную глубь
И зажжет в этой глуби
Семицветныя звезды.
Ты долго смотри на них.
Долго смотри.
Оне поднимут к себе,
Как подружку звезду, —
Твою вольную душу.
Оне принесут тебе
Желанный сон — о возлюбленной.
И споют звездным хором:
Радуйся! Жизнь для тебя.

Звенидень.

Ор. 2.

(Секретарю Айкъ).

Звени Солнце! Копья светлыя мечи,
Лей на землю жизнедатные лучи.
Звени знойный, краснощекій,
Ясный - ясный день!
Звенидень!
Звенидень!
Пойте птицы! Пойте люди! Пой земля!
Побегу я на веселыя поля.
Звени знойный, черноземный,
Полный - полный день!
Звенидень!
Звенидень!
Сердце радуйся и пояс развяжись!
Эй, душа моя, пошире распахнись.
Звени знойный, кумачевый,
Яркій - яркій день!
Звенидень!
Звенидень!
Звени Солнце! Жизнь у каждаго одна!
Я хочу напиться счастья до - пьяна!
Звени знойный, разудалый,
Пьяный, долгій день!
Звенидень!
Звенидень!

Полдень.

Op. 3.

В знойный полдень
Голубые колокольчики
В небе разливаются.
Стройный замер лес.
Ягодницы - девушки
В кустах перекликаются.
Белокрылые ангелы
Смотрятся с небес.
Белокрылые ангелы
На белых парусах
В бирюзовом озере
Катаются.
Струйкой поцелуйной
Струится ветерок.
Над бюрюзовым озером
Зеленые грусточки
Истомно качаются.
С цветочка на цветок
Взлетает бабочка:
Разласкивает ласки...
Эти ласки - сказки никогда
Не кончаются...

Развеснилась весна!
Распахнулись ворота веснія,
Голубыя, высокія - высокія, —
Неба выше!
А солнце то! Солнце светит
Жаркой, первой любовью.
Голубятся голуби на крыше.
Целуются. Топчутся.
Аг - гурль... аг - гурль...
Согретые голуби. Счастливые.
Вот хорошо!
Эх, побегу я сейчас
За тем — вон — беленьким платочком
К пушистым ивам.
Я тоже буду счастливымъ.
Я тоже буду голубочком.
Буду жарко миловать,
Как это солнышко!
Буду громко распевать:
Аг - гурль!.. аг - гурль!..

Развеснилась весна.

Op. 4.

(В. Хлебникову).

Чурлю - Журль.
Op. 5.

Звенит и смеется,
Солнится, весело льется

Дикій лесной журчеек —
Своевольный мальчишка —
Чурлю - Журль.
Звенит и смеется,
И эхо живое несется
Далеко в зеленой тиши
Корнистой глуши:
Чурлю - Журль...
Чурлю - Журль...
Звенит и смеется:
„Отчего же никто не проснется
И не побежит со мной
Далеко, далеко... Вот далеко!
Чурлю - Журль...
Чурлю - Журль...
Звенит и смеется.
Песню несет свою. Льется.
И не видит: лесная Белинка
Низко нагнулась над ним...
И не слышит: лесная цветинка
Песню отцветную поет и зовет...
Все зовет еще:
„Чурлю - Журль...
А Чурлю - Журль?..“

Быть хочешь мудрым?
Летним утром
Встань рано — рано,
(Хоть раз - да встань),
Когда тумана
Седая ткань
Редеет и розовеет.
Тогда ты встань
И, не умывшись,
Иди умыться
На ростань,
Дойдешь — увидишь—
Там два пути:
Направо — путь обычный;
На нем найти
Ты можешь умывальник
С ключевою водой,
А на суку—
Прямой и гладенькій сучек —
Висит
Холщевый утиральник,
А на бичевке гребешек.
Раз приготовлено, — так мойся,
Утрись и причешись

Ростань.

Ор. 6.

И Богу помолись.
И будешь человек „приличный“.
И далеко пойдешь всегда,
Когда на правый путь свернешь.
Помни! это ведь — не ерунда.
А вот налево — путь иной.
Налево не найдешь
Ни умывальника, ни утиральника,
Там надо так:
Коли свернул ты на левянку,
Беги во весь свой дух
На росную, цветистую полянку.
Пляши, кружись и падай.
И целуй ее, целуй,
Какъ вѣрную, желанную милянку,
И опять пляши, кружись,
Снова падай.
Чище мойся!
И не бойся:
Солнце вытрет сухо
Мокрое лицо.
Только вытряхни из уха
Муравьиное яйцо.
Только выплюнь

Го подавишься) —
Колючую сенинку,
А душистую травинку,
На здоровье
Уешь!
Быть хочешь мудрым?
Летним утром
Встань рано - рано
Хоть раз - да встань),
И не умывшись,
Иди умыться
На ростань.

Сельскій звон.

Ор. 7.

Как хрустальные голуби,
С белых высоких башен
Желто - звонныя стаи за стаями
На грудь росную пашен
Слетают,
И тают
Зовами синими,
Веснами — маями.



На высокой горке.

Op. 8.

В полдень,
На высокой зеленой горке,
Кверху животом,
Я лежу
И слежу,
Как живет наш
Деревенскій дом.
Мои гляделы
Уставились на
Небесные корабли:
Какое им дело
Теперь до земли.
И пусть плавают
На кораблях мечты —
Неземныя души —
Там их дороги.
Земное в этот час,
Направив стрелы тонкія,
Стерегут пусть уши.
Чу! Ах...
То близко, то далеко,
То низко, то высоко,
В выси голубой,
Звенящею волной

Невидимки — жаворонки
Дрожат, переливаются,
Зовут, перекликаются.
Над солнечной землей
Радостно купаются.
Чу!
Прочернела ворона,
Гнусно прокричала:
К кому?..
Издалека корова
Грустно замычала:
Ммму-у...
Медное, тупое
Забренькало гудило;
Должно быть, разбудило
Мальчишку — пастуха:
Укнул сонно: „у-у"...
Внизу разнесся
Детскій голос: „а-а"...
Замекали овечки,
Залаяла собака...
Опять тихо...
Прискакали кузнечики —
Застрекотали.

Мимо чела
Прочелила пчела.
Притянулся тоненькій
Жалобный комар;
На руке раздулся,
Как самовар.
Едва, бедный, улетел.
Чу! Что?..
Из лесу вдруг вырвалась
Гулкая девичья песня
И в тоске замерла.
Я глубоко вздохнул.
Отчего? ах, мне
Тоже вспомнилась
Песня одна...
Тише, сердце! Не бойся:
Ведь я петь ее не хочу.
Чу, чу!
Сверещала вещунья
Сорока болтушка.
В дальнем лесу
Скуковала кукушка:
Раз...
Смерть у меня на носу.

Ветерок зашептался,
Затих... Жавронки
Петь перестали.
Когда? Я не заметил.
Что то грустно стало.
Опять песня!
Тише, сердце.
Упали мысли
С небесных кораблей.
Поплыли в лес
За девичьей песней;
В зеленый лес
С голубых небес.
Зажглась слеза.
Закрылись глаза.
Сон заласкался
В лазурном тумане.
Я снова остался
В обмане, в обмане...
Эх, девичья песня,
Отчего я слушать
Тебя не могу...
Тише, сердце! Не бойся.
В далеком лесу

Мне кукушка сгадала:
Раз...
Смерть у меня на носу.
Чу!
Песня...
Я тоже знаю
Одну песню...
О, сердце, не бойся
Я петь ее не хочу.

Дремучій лес.

Ор. 9.

Все шамкают, шепчутся
Дремучіе старые воины.
Густо сомкнулись.
Высокія зеленыя стрелы
В небо направлены.
Точно стариковскія брови,
Седыя ветви нависли
И беззубо шепчутся.
По-стариковски глухо
Поскрипывают, кашляют.
И все ворчат, ворчат
На маленьких внучат.
А те, еще совсем подростки,

Наивно тоже качаются,
Легкодумно болтая
Тоненькими веточками;
Да весело заигрывают
С солнечными ленточками,
Что ласково струятся
Сквозь просветы.
Ах, какое им дело
До того, что строгіе деды
По привычке шепчутся,
Да все — беззубые — ворчат,
Какое шалунам дело!
Им бы только с ветерком
Поиграть, покачаться,
Только б с солнечными
Ласковыми ленточками
Понежиться, посмеяться.
А деды зелеными головами
Только покачивают;
Седыми глазами
Смотрят на шалунов внучат.
И все ворчат. Ворчат.

Серебряныя стрелки.

Op. 10.

На речушке - извивушке,
На досчатом плотике,
Под зелеными грусточками,
Схоронившись от жары,
Я лежу.
И прислонившись
Носом к самой воде,
Я гляжу
На зеленое дно
И мне все ясно видно.
Вот из под плотика
Выплыли две остроглазыя
Рыбки и,
Сверкнув серебром, убежали.
Из под камешка
Вдруг выскочили пузырьки,
Бусами поднялись на верх
И полопались. Кто то
Прошмыгнул в осоку
И оставил мутный след.
Где то булькнуло.
И под плотик пронеслась
Стая серебряных стрелок.
Успокоилось.

Рука теченія снова
Спокойно стала гладить
Зеленые волосы дна.
На солнечном просвете
Что то (мне не видно что)
Беленькое, крошечное
Заиграло радужными лучами,
Как вечерняя звездочка.
У! из под плотика выплыли
Целыя тучи рыбешек.
И потянулись вперед,
Разсыпались, зашалили,
Точно только что выпущенные
Школьники из школы.
Ужо подождите учителя —
Стараго окуня,
Или учительшу —
Щуку —
Они вам зададут.
Ого! Все разбежались.
Кто куда? Неизвестно.
Потом все - откуда? —
Снова столпились.
И побежали дальше.

Над головой веретешко
Пролетело, за ним кулик.
Ветерок подул.
Закачались кроткіе
Зеленые грусточки
Над речушкой - извивушкой.
Хлюпнула вода под плотиком.
Стрельнула серебряная
Быстрая стрелка
И запуталась в шелковых
Ленточках осоки.
Ну, вот... Ах ты... Вот
Напугала, дикая:
Чуть не в нос стрельнула
Шальная стрелка.
Я даже отскочил.
Впрочем, — кто знает? —
Она, может быть,
Хотела меня поцеловать.
Ведь вот какая!

Вечером на даче.

Op. 11.

Перед балконом в мусоре
Заалело от бутылки донце,
Отразившись стрелами
В розовом оконце:
Потянулось спать
Вялое солнце
За колючій лес,
За дымныя горы.
Тише. Покуда
Не бренчите посудой:
Телеграфист в ударе —
Поет „разлуку“,
Держа важно руку,
Подыгрывает на бандуре.
Грустно. Вдруг,
Как бес,
Пробежала шальная собака
Мимо.
В ухо залез
Пискляк - кусака.
Замотался.
Где то за реченкой
Утка проскрипела
Кря - кря...

Нищая - девочка подошла
С протянутой ручонкой —
Запела:
„Родной мой отец
Сгорел от вина.
Мать на столе холодна.
Я сирота голодна“...
Нежный телеграфист
Неловко смолк:
Может быть, оттого,
Что две слезы нежданно
На бандуру скатились...
Унесли чайную посуду.
Хлопнули стеклянными дверями.
Лампу зажгли.
Серыя занавески
Тихо опустились.
Я не буду сегодня больше
Сидеть на балконе
И не пойду гулять.
Нет, не пойду.
Как красный уголь,
Затлело в мусоре
От бутылки донце:

Утянулось спать
Вялое солнце
За колючій лес,
За дымныя горы.

Скука девы старой.

Op. 12.

Затянулось небо парусиной.
Сеет долгій дождик.
Пахнет мокрой псиной.
Нудно. Ох, как одиноко-нудно.
Серо, безконечно серо.
Чав - чав ... чав - чав ...
Чав - чав ... чав - чав ...
Чавкают часы.
Я сижу давно-всегда одна
У привычнаго истертаго окна.
На другом окошке дремлет,
Одинокая, как я,
Сука старая моя.
Сука — „Скука".
Так всю жизнь мы просидели
У привычных окон.
Все чего то ждали, ждали.
Не дождались. Постарели.

Так всю жизнь мы просмотрели:
Каждый день шел дождик...
Так же нудно, нудно, нудно.
Чавкали часы.
Вот и завтра это небо
Затянется парусиной.
И опять запахнет старой
Мокрой псиной.

———

Е. Низен. Детскій рай. Ор. 1.

Там с утра до вечера привязанныя на веревочках резвились маленькія сопливыя существа. Не то это были рабы, взятые в плен, не то необходимыя и ненужныя принадлежности песчаной площадки.

И неизвестно было, зачем собственно понадобилось этим жирным и сонным, одетым в лиловую кисею, держать неизменно около себя по нескольку штук этих непріятных, нечистоплотных, визгливых животных.

Маленькій рай был под железнодорожным откосом, темно-зеленым и жирным, у самаго полотна. Он весь был покрыт песком и обставлен скамейками для лиловых. Съ одного края была береза, громадная, немного наклонившаяся и грустная. Но собственно здесь она была совершенно ни к чему; впрочем, ее и срубили очень скоро, чтобы расчистить крокет для лиловыхъ.

Приходили и уходили поезда. Много людей толпилось на платформе рядом с песочной площадкой; поднимались по деревянной лестнице и опять спускались. Маленькія животныя на них не смотрели, потому что люди были совершенно одинаковые и очень шумели. На площадке все было одинаковое и все какое-то ненастоящее: песок не пачкал, трава по краям была сухая, не пахла и не шевелилась от воздуха. Только береза была, пожалуй, другая, потому, что с нея всегда падало что-нибудь особенное: зеленые червяки, зеленыя

мягкія подъ пальцами сережки, скрепленныя из звездочек, листья, прутики...

За площадкой подальше начиналось, должно-быть, другое царство, — очень интересное. Даже на края уже заползали иногда странные жучки, в бугорках, должно быть, злые,—и между обыкновенной крупной и пыльной травой попадались совсем маленькія, зеленыя звездочки — в ноготь, — мокроватыя, жирныя и про них хотелось что-нибудь разсказывать...

Но уйти подальше было нельзя. Маленьких животных стерегли. С утра они приходили с лопатками и деревянными чашечками и должны были рыть песок до вечера. Если даже они и пробовали уходить, то натягивались незаметныя веревочки и сейчас же становилось безпокойно и скучно, и приходилось возвращаться.

Лиловыя выползали только к двенадцати, еще сонныя и мягкія от жары. А до них тут на площадкѣ были семяч-

ки, толстые, тусклые сапоги, запах ситцевых платьев. Это было время наемных, — розовых с белыми передниками и масляными волосами. Эти просто тупо отсиживали свое время и вздыхали, глядя на голубое небо, из котораго нельзя сшить кофты. Но почему-то маленьким животным с ним было уютнее, — больше по себе. При розовых они больше визжали, дрались и пачкались: и глаза у них не много блестели.

Когда приходили лиловыя все смолкало. Оне шуршали, занимали много места и очень сильно пахли. Семячек как-то не было заметно, и играть ни во что настоящее уже было нельзя, — не выходило. Время делалось медленнее.

Потом надо было идти домой есть, хотя есть не хотелось. Лиловыя подымались молча друг за другом и надо было следовать за своими.

Кто-нибудь, пользуясь наступившим наконец движеніем, забегал на минуту в овражек, где был мокрый песок, голо-

вастики и черные кусочки дерева. Все это было захватывающе... Т. е. до чего это было удивительно... но его лиловая уже удалялась, непреложная и непререкаемая, как обед... Веревочка нятягивалась и он бросался догонять.

На короткое время площадка была почти пустая. Приходили и уходили поезда. Песок был горячій и пахло летом. Но потом опять все возвращались, в двойном количестве, окрепшія к вечеру, говорливыя и смешливыя. И выходило как-то так, что не оставалось ни травы, ни настоящаго песка, ни деревьев.

Лиловыя были главными и занимали всю площадку, хотя сидели очень аккуратно и неподвижно на скамейках. Главными были оне,—и все-таки их всегда немного безпокоили непонятныя грязноватыя животныя, которых оне завели зачем-то, которыя все куда-то совали пальцы и втыкали прутья в дырочки сапог. Главное, что от них всего можно было ждать, что они были непонятныя,

притаившіяся и всегда немного враждебныя: все что-то высматривали и соображали. А хуже всего было то, (так говорили между собой лиловыя), что на этих шло ужасно много денег и не хватало на шляпы и кисею.

С приходом лиловых часть маленьких животных поднималась на заднія ноги и терлась около их зонтиков и редикюлей, задавая одикаково глупые вопросы. Это были те, которыя уже подростали, переходя постепенно в разряд лиловых. Они делались длиннее, тоньше, и им было еще скучнее. Из году в год очень правильно функціонировал маленькій рай, как настоящій хорошій заводик.

Періодически, всегда ближе к концу лета, у лиловых делались другіе голоса. Оне сильнее душились и завивались, и около них терлись тогда и свои и чужіе, Глаза у них у всех были тогда плывущіе и при движеніях рук двигалась непременно и спина и все тело.

Маленькія животныя отлично знали это время и становились нахальнее. Они знали, что лиловыя теперь до некоторой степени зависят от них. Почему, неизвестно, но зависят. Сейчас же они начинали больше пачкаться, дерзить и убегали под откос, где была земляника и кузнечики. Они знали, что теперь их не будут искать сразу. Разве пошлют розовых, — но те вообще не торопятся.

Но хорошее время было очень коротко, потому-что лиловыя всегда почему-то опаздывали, не решались, не решались,—а потом уже надо было уезжать. Так и проходило лето маленьких животных без деревьев, без гроз, без земли и без зелени.

И только когда под осень утрами уже становилось холодновато, и людей оставалось совсем мало, и вода капала с березы и с крыш подбегавших вагонов — в ветвях и в траве опять начинало шуметь и разговаривать и опять пахло песком и листьями.

Маленьких животных тоже увозили. И когда они стояли на платформе, одетые во что-то темное и городское, они казались тоже совсем серьезными и настоящими, как далекія, сжатыя поля, которыя только теперь почему-то стали заметными.

А потом уже все молчало. Становилось совсем, совсем тихим — оживало...

Праздник

Op. 2.

Сразу у города стало другое лицо: желтое, пыльное и скучное. И вот что странно,—совсем обыкновенное.

Вчера по улицам торопились и ждали: маленькая маленькая была надежда, что случится что нибудь . . . А сегодня даже еще скучнее, и еще обыкновеннее.

Идут, идут . . . Еще новые повернули из за угла. Их очень много. И они так неловко все идут, точно в первый раз, точно ноги у нихъ тяжелыя и липкія и подошвы надо отдирать от тротуаров.

Въ окнахъ магазиновъ парусина, закрытые глаза. Магазины не праздничные, нет, просто усталые и не хотят смотреть. А людей ужасно много. Никогда еще не было так много.

Это так думал мальчик; онъ стоял у окна с девяти утра, с той минуты, как напился чаю и кончил благодарить за подарки. Он все стоял и смотрел на улицу и ему было так скучно, что ни за что не хотелось приняться. Мальчика очень тянуло заплакать, точно его обидели и обманули. Опять-же, если бы это мать его обманула, он бы очень хорошо поплакал. Но совсемъ неизвестно кто обманул и кого, и зачем... Старшіе тоже недовольны и все только едят. Им тоже скучно.

А не есть опять-же нельзя, думает мальчик, а то все испортится . . .

И потом ему тоже казалось, что лавочники должны всетаки любить свои всякія вещички, и онъ думал, что они

непременно украсят их к празднику: въ каждый перочинный ножик, например, воткнут по синенькому цветку, какіе вчера продавали на улицах, а вокруг яичек будет мох и ленточки. И они с мамой будут долго, до самаго вечера, ходить от окна к окну и все смотреть . . . А лавочники просто опустили парусину. Какой-же это праздник? Если не хотят, так и не надо. Совсем уж лучше не надо!

Им одевали белыя платья и застегивали сзади . . . С прошлаго года платья стали узкими, но от этого еще параднее. И потом целый день он боялся притронуться к игрушкам, чтобы не согрешить, точно нес маленькую чашечку с водой и боялся расплескать. И ему удалось сохранить свою святость совсем хорошо до вечера, до самой бархатной ночи.

Старшіе поехали, а он стоял у окна и ждал. И над его головой катались громадные звоны круглыми и ужасно веселыми шарами. Становилось все

темнее и радостнее. И наконец он заснул у окна. Так хорошо, особенно заснул . . .

Удивительная была ночь.

Синяя-синяя, и такая прозрачная, точно без воздуха. И от этого она была остановившаяся, затаенная, как-будто и в самом деле должно было случиться что-то.

По набережной ходили студенты и курсистки. Они не верили в праздник, но им было пусто сегодня и потому приходилось шуметь и толкаться. Там была одна девушка с белокурыми косичками, вокруг головы. И оттого, что у нея были очень уже свежія щеки и такая маленькая голова, — ей было очень скучно без праздника.

Она смотрела на скомканных старушенок, которыя торопились, и ей казалось, что верующіе такіе счастливые. Она забыла, конечно, что и ее бы обманули, как мальчика, который будет завтра стоять у окна с девяти утра.

А с утра люди все шли по улицам, упорно куда-то шли, и их было так много, как никогда. Что бы куда-нибудь идти, они вспомнили о каких-то безногих троюродных тетках в Галерной Гавани и об шуринах с кучей детей. В карманах у них вспотели и слиплись дешевыя сахарныя сласти. Они шли и с трудом и отдирали ноги от тротуаров.

Ведь, был очень большой праздник и пришлось идти куда-нибудь с утра и они пошли и не знали куда зайти и куда девать себя, — тем более, что и трамваев не было.

Шел также один гимназист, который считал себя очень интересным, потому-что сочинял стихи. Он думал, что будет довольно скоро знаменитостью, а потому не придавал особеннаго значенія своему короткому, трусливому носу и слишком приличному лицу.

Он шел очень недовольный и ему было непріятно встречаться с глазами проходящих людей, потому что они ка-

зались ему сегодня особенно противными и провонявшими: столько затхали и ежедневной скуки выбросили они сразу на улицу. Точно, правда, всю зиму копили-копили все свои противныя ссоры и вонь от тюфяков, а потом, как только выставили рамы, — бац, все на улицу.

И ему хотелось сочинить дивное стихотвореніе, удивительное стихотвореніе, где-бы говорилось, как когда-нибудь, потом, люди будут за свою одинокую зиму копить разныя особенныя и интересныя слова, стихотворенія и красивые романсы, а весной, когда будут выставлены рамы, все это будет слышно с улицы. И это будет ужасно красиво и всем захочется поздравлять и украшать друг друда и себя, и стены, и фонари, и тумбы, и перочинные ножики в окнах магазинов. Вот тогда это уже будет настоящій праздник!..

Он шел с визитом к богатой тетке и ему было очень стыдно этого. Тетка даст ему, наверное, пять рублей в яйце,

а, может быть, даже десять. Но если-бы он взял, да не пошел к тетке, было-бы гораздо лучше. Тогда-бы он уже наверное сделался впоследствіи знаменитым писателем. А теперь еще неизвестно.

И ему от этого было еще непріятнее встречаться с глазами прохожих, потому-что если он читал у них про ссоры и скуку, то и они, ведь, могли прочесть про богатую тетку. Значит, и он не настоящій.

Было очень нехорошо.

Тогда один маленкій, горбатый человечек с злыми, яркими глазками влез на фонарь и остановил их всех — „Тараканишки, ай, тараканишки . . . шипел он. И они остановились . . . Но впрочем, такого человека не было. Просто гимназист дошел до под'езда богатой тетки, где стояли два карлика с красноватыми носами. Он остановился и подумал, что если-бы не было на нем фуражки и форменнаго пальто, а был бы он вот

такой маленькій уличный горбун, он влез-бы непременно на фонарь и говорил-бы против праздника. Слова у него были-бы прямо огненныя, совсем особенныя слова. Даже не просто слова, а целое стихотвореніе... „Презренные трусы“... И он мог бы остановить их. Сейчас... И от громаднаго, смелаго волненія он сам остановился.

Но в форме, конечно, неудобно... К тому-же почти четыре. Он и так опоздал.

Он поправил фуражку и позвонил.

Так и прошел праздник.



Зажег костер.
И дым усталый
К нему простер
Сухое жало.
Вскипает кровь.
И тела плена
Шуршит покров.
В огне полена.
Его колена —
Языков пена
Разит, шурша;
Но чужда тлена
Небесъ Елена —
Огнеупорная душа.
Поэт и крыса — вы ночами
Ведете брешь к своим хлебам;
Поэт кровавыми речами
В позор предательским губам,
А ночи дочь, — глухая крыса —
Грызет, стеня, надежды цепь,
Она так хочет добыть горсть риса,
Пройдя стены слепую крепь.
Поэт всю жизнь торгует кровью,
Кладет печать на каждом дне

Бурлюк Николай.

1 ор.

Самосожженiе.

2 ор.

И ищет блеск под каждой бровью,
Как жемчуг водолаз на дне;
А ты, вступив на путь изятій,
Бросаешь ненасытный визг, —
В нем—ужас ведьмы с костра проклятій,
След крови, запах адских брызг.
А может быть отдаться ветру,
В ту ночь, когда в последній раз
Любви изменчивому метру
Не станет верить зоркій глаз? —
А может быть, когда узнают
Какой во мне живет пришлец,
И грудь — темницу растерзают,
Мне встретить радостно конец? —
Я говорю всем вам тихонько,
Пока другой усталый спит:
„Попробуй, подойди-ка, тронька, —
Он, — змей, в клубок бугристый свит“.
И жалит он свою темницу,
И ищет выхода на свет,
Во тьме хватает душу — птицу,
И шепчет дьявольскій навет;
Тогда лицо кричит от смеха,
Ликует вражескій язык:

Ведь я ему всегда помеха, —
Всегда неуловим мой лик
Круг в кругу черти, — черти, *3 ор.*
Совершай туманный путь,
Жизни тусклыя черты *Душа Плененная.*
Затирай глухая муть;
Все равно ведь не обманешь,
Не пройдешь волшебный круг:
Пред собой самим ты станешь,
Раб своих же верных слуг.
Тонкогубый, нервный разум,
Чувство, — вечная печать, —
Заполонят душу разом,
Стоит ей начать искать.
И в гимназіи и дома
Потекут пугливо дни,
Сердце искривит оскома,
Мысли станут так бледны.
Вдохни отравленную скуку *4 ор.*
Прошедших вяло вечеров
И спину гни, лобзая руку,
С улыбкой жадных маклеров, —
Ты не уйдешь от скучных бредней,
И затуманешь свой-же лик,

На зеркалах чужой передней,
Публичной славою велик.
Твоих неведомых исканiй
Седой испытанный старик,
С умом змеи, съ свободой лани, —
Неузнанный толпой твой лик;
Пройдет с опущенной главою
Сквозь строй упершихся зрачков.
Всем служит гранью роковою —
Нестройной зыбкой жизни зов.
Осталось мне отнять у Бога, *5 ор.*
Забытый ветром, пыльный глаз:
Сверкает ль млечная дорога
Иль небо облачный топаз, —
Равно скользит по бледным тучам
Увядшiй, тусклый, скучный ум.
И ранит лезвiем колючим
Сухой безстрашный ветра шум.
О ветер! похититель воли,
Дыханье тяжкое земли,
Глагол и вечности и боли
„Ничто“ и „я“, — ты мне внемли.
День падает, как пораженный воин, *6 ор.*
И я, как жадный мародер,

Влеку его к брегам промоин,
И, бросив, отвращаю взор.
Потом чрез много дней, случайно,
Со дна утопленный всплывет;
На труп, ограбленный мной тайно,
Лег разложенія налет,
И черт знакомых и ужасных
Дух успокоенный не зрит,
Его уста навек безгласны—
В водах омытый малахит.
В своем безформенном молчаньи
Творец забытых дел — вещей,
Средь волн в размеренном качаньи,
Плывет как сказочный кощей.
И пепел зорь лежит на щеках,
Размыл власы поток времен
И на размытых гибких строках
Ряд непрочитанных имен.
Один из многих павших, воин,
В бою с безсмертным стариком,
Ты вновь забвенія достоин,
Пробитый солнечным штыком.
Из всех ветрил незыблемаго неба 7 ор.
Один ты рвешь закатныя цветы,

Уносишь их во мрак Эреба. —
В тайник восточной темноты.
И опустевшія поляны
Не поят яркость облаков,
Зажили огненныя раны
Небесных радужных песков.
Ушел садовник раскаленный,
Пастух угнал стада цветов,
И сад ветрил опустошенный
К ночной бездонности готов.
Унесены златые соты,
Их мед не оросит поля.
Сокрытых роз в ночные гроты
Не вынет мед пчела — земля.
Понятна странная смущенность *8 ор.*
И к нервным зовам глухота: —
Мой дух пріемлет ущербленность, —
Его кривится полнота.
И с каждым днем от полнолунья
Его надежд тускнеет луч...
Ах! мудрость, строгая шалунья,
Вручит не мне эдемскій ключ!
Ея усердные призоры
Гасят безплодные огни

И другу вшедшему на горы,
Кричу я: „спину ты согни!“
И вот на бледном небоскате
Он выгнул желтый силуэт;
По нем тоскою как по брате:
Чужим ведь светом он согрет.
И здесь отторгнутый взираю
На голубыя дня врата...
И се—неведомому раю
Души отдалась нагота.
Приветы ветренной весны, *9 ор.*
В тюрьме удушных летних дней,
Завяли; и места лесны
И степь и облака над ней
Стареют в солнечных лучах.
И, как привычная жена,
Земля, с покорством дни влача,
— Усталостью окружена.
Немеют в небе тополя,
Кристально реют коромысла
И небо, череп оголя,
Дарует огненныя числа.
Во всем повторенная внешность
Кует столетьям удила, —

Вотще весне прошедшей нежность
Надежду смены родила.
По бороздам лучей скользящих 10 ор.
Ложится отблеск огневой.
Диск солнца, горизонт дымящій,
Одел оранжевой фатой.
Повсюду побежали тени: —
От бурьянов, могил, копиц,
И, провожая час вечерній,
Отчетлив голос чутких птиц.
Завяли пыльные побеги
Ветров торивших колеи.
Им проезжавшія телеги
Давали тело — вид змеи.
Теперь безсильные поникли
На зелень придорожных трав:
(И мы ведь к отдыху привыкли,
За день от суеты устав).
Зацвелый запад разсыпает,
Красы, как лепестки цветок,
И алым отсветом смягчает
Звездами блещущій восток.
Степи притихнувшей пустыня
В час на вечерній — сфинкса лик,

Чей тихо шепчущій язык
Пронзает сталью звездных пик.
Стихают смех и разговоры
Во мраке дремлющих аллей.
Шутливые смолкают споры
О том, кто Настеньки милей, —
К нам тихія приходят горы
Из затуманенных полей.
Всем надоел костер дымящій
И игры в прятки и кольцо,
И поцелуи в темной чаще,
И милой нежное лицо, —
Морфея поцелуи слаще:
Идут к от'езду на крыльцо.
„Алеша! где моя крылатка?
Вы с ней носились целый день". —
— „Вы знаете, какой он гадкій!" —
— „Вы осторожней—здесь ступень"—
— „Я вообще до фруктов падка,
Теперь merci, — мне кушать лень" —
— „Ты, мамочка, садись в коляску,
А девочки займут ландо:
Она не так, как этот тряска;
Мишель и я махнем бедой". —

11 ор.

Ночная езда.

I.

— „Сергей, не забывай-же нас-ка!" —
— „Маруся, пріезжай средой!"
Прохладной пылью пахнет поле II.
И ровен рокот колеса.
Усталый взор не видит боле
Как безконечны небеса; —
Душе равны и плен и воля, —
Ее питает сна роса.
В распутій равнодушной раме,
Наш старомодный фаэтон
С зловеще—черными конями,
В ночи как Ассирійскій сон,
Вдруг промелькнул перед глазами,
На миг раздвинув томный тон.
Девицы, спутницы веселья, —
Под колыханіе рессор —
(Из пледов сделал им постель я)
Уснули, как вакханок хор;
И он — дневных тревог похмелье —
Лелеет, как любовный вор.
И как укромных исполненій,
Так и безумія дворцов,
Он постоянный добрый геній —
Венечный цвет земных концов,

Денных забот и утомленій
Всегда последній из гонцов.
Его покоящим обьятьям
Мы отдаемся без стыда,
Неприкрываясь даже платьем,
А он, как теплая вода,
Покорен ласковым заклятьям,
Целует нежно без следа.
И целомудренная дева,
Которую пугает страсть,
Ему, без робости и гнева,
Спешит красы отдать во власть, —
Как обольстительница Ева
Плоды паденія украсть.
Ну, как не возроптать желанью,
На греков, чьей виной Морфей,
Не Артемида с гордой ланью,
Нам смертным льет напиток фей. —
Ужель осталось упованью
Во сне единственный трофей?!
Неотходящій и несмелый *12. ор.*
Приник я к детскому жезлу.
Кругом надежд склеп вечно белый
Алтарь былой добру и злу.

Так тишина сковала душу
Слилась с последнею чертой,
Что я не строю и не рушу
Подневно міром запертой.
Живу, навеки оглушенный,
Тобой — безумный водопад
И, словно сын умалишенный,
Тебе кричу я невпопад. *13. op.*
Две девушки его пестуют —
Отчаяніе и Влюбленность,
И мертвенность души пустую
Сменяет страсти утомленность.
О! первой больше он измучен, —
Как холодна ея покорность,
Как строгій лик ея изучен,
Пока свершалась ласк проворность.
И взор его пленен на веки
Какими серыми глазами
И грудей льдяной — точно реки,
Прошли гранитными стезями.
Вторая — груди за корсажем
И пальчик к розам губ приложен.
Он служит ей плененным пажем,
Но гроб обятій невозможен; —

На миг прильнула, обомлела,
И вот, — мелькают между древій
Извивы трепетнаго тела
И разливается смех девій.
Ушла. И жуткой тишиною
Теперь другая околдует; —
Уж бледный профиль за спиною
Через плечо его целует.
Быть может, глухою дорогой *14. ор.*
Идя вдоль уснувших домов,
Нежданно наткнусь на берлогу
Его — изобревшаго лов.
Растянет на ложе прокруста
Меня и мой тихій состав
И яды, — отрада Лукусты,
Прельет, дар неведомых трав.
И сонную нить я распутав
Пойму чей занял эшафот, —
Под сенью какого уюта
Кровавый почувствовал пот.
Там, в час покоренных проклятій,
Познал твою волю Прокруст,
Когда, под пятою обятій,
Искал окровавленность уст.

„Пять быстрых лет“ *) *15. ор.*
И детства нет: — *Стансы.*
Разбит сосуд ліяльный
Обманчивости дальней.
Мытарный дух —
Забота двух,
Сомненья и желанья,
Проклял свои исканья.
Огни Плеяд —
Мне ранній яд,
В ком старчества приметы,
Зловещих снов кометы.
Природы ков,
Путем оков
Безжалостных законов,
Лишает даже стонов.
Ея устав
Свершать устав,
Живу рабом унылым
Над догоревшим пылом.
Днем — обезличенное пресмыканіе — *16 ор.*
Душа — безумій слесарь;

---

*) Стихи В. Брюсова.

В ночи — палящая стезя сверканія
— не победимый кесарь. *17 op.*
Змей свивается в клубок,
Этим тело согревая; —
Так душа, — змея живая,
Согревает свой порок. *18 op.*
Зачем неопалимой купиной
Гореть, не зная, чей ты лик, —
Чей покорительный язык
Тебе вверяет тень земли иной.



Въ белом зале, обиженном папиросами *Е. Гуро.*
Коммиссіонеров, разбившихся по столам; *Ор. 1.*
На стене распятая фреска,
Обнаженная безучастным глазам.

Она похожа на сад далекій
Белых ангелов—нет одна—
Как лишенная престола царевна,
Она будет молчать и она бледна.

И высчитывают пользу и проценты,
Проценты и пользу и проценты
Без конца.
Все оценили и продали сладострастно,
И забытой осталась — только красота.

Но она еще на стене трепещет;
Она еще дышет каждый миг,
А у ног делят землю коммиссіонеры
И заводят піяно-механик.

. . . .

А еще был фонарь в переулке—
Нежданно-ясный,
Неуместно-чистый как Рождественская

Звезда!
И никто, никто прохожій не заметил
Нестерпимо наивную улыбку Фонаря.

. . . .

Но тем,—кто приходит сюда—
Сберечь жизни —
И представить их души в горницу
Христа —
Надо вспомнить, что тает
Фреска в кофейной,
И фонарь в переулке светит
Как звезда.

Меж темных елокъ стояла детская комната, обитая теплой серой папкой. Она летала по ночам в межзвездных пространствах. *Детство. Ор. 2.*

Здесь жили двое: „Я", много дождевых духов над умывальником и железная круглая печка, а две кровати ночью превращались в корабли и плыли по океану.

За окнами детской постоянно шумел кто-то большой и не страшный. От-

того еще теплей и защитней становились стены.

Ввечеру на светлом потолковом кругу танцовали веселыя мухи. Точно шел веселый сухой дождик.

В детскую, солнечной рябью по стенам, приходили осеннія утра и звали за собой играть.

Там! Ну — там — дальше, желтые дворцы стояли в небе, и на осиновой опушке, за полем, никли крупныя росины по мятелкам, по курочкам и петушкам. Никли водяныя, и было знобно и рано.

Это оно! Оно! идем к нему на встречу.

Ах, какія на утро были ласковыя, серебрянныя паутинки! Откуда они пришли? Ничего не знали — от них лежал свет, и все прощала зеленая полоса, бледная, над крайними березками.

Светились травы прядями льняных волосков, что собрать в косичку осенней лесной девочки, и пойдти с ней за рябиной.

Где-то молотили, собирали и готовили перед зимой. Оттого переполнена свѣтомъ и спѣлымъ тишина. Оттого празднична дорожка к гумну и амбару, и осыпанныя росой пахнут спелой землей полосы пашни. И не уходя, стоит в поле осенній веселый со светлой головой из неба.

Подходила перемена, и маленькія елочки и рябины, зная это улыбались кверху, ждали просіяв насквозь иглами солнца, и водяного неба, и до того душа танцовала с солнечными пятнышками, что съежившись смеялись — думали: это от красных кистей рябины и оттого что печку затопят вечером.

Ночи стали черныя как медведь, а дни побелели как овес.

И еще был ранній час утра, с радужными паутинными кружками на оконных стеклах.

Это оно! Это оно, бежим ему на встречу!

И белый чайный фарфор столовой, был такой настояще-утренній, что не обманывались.

Второпях не знали в кого играть: в фею, как она прядет золотыя волокна или в путешественников, накрыв стулья верблюжьим одеялом.

Это китайцы, в узорных кофтах сидели на соломенных циновках, на берегу лазурнаго, лазурнаго моря.

Висел над их головами мамин лук, и поррей сушился пучками. Все удалилось за лазурную полосу, и соломенное солнце и колокольчики китайских беседок качались в стеклянном небе.

Пришли шелковыя с завитушками двоюродныя сестры. Стал сразу издожденный балкон с осенними столбами, и матросскіе костюмчики.

Состязались кто лучше, выдует прозрачный шарик, а в призы с собой принесли светлые зернышки бисера.

И стало такое волненье, такое волненье, что замирая садились на корточки, и радовались.

В летучих шариках опрокидывались маленькія китайскія деревья, вниз го-

ловой, и перламутровое небо было маленьким, маленьким, розовым.

Пролетая в них отражался вверх ногами забор и они лопались.

Уж пошушумывал мохнатый вечер в окна. Уж громадно было за окнами, чудно и чуждо, и сине, и сладко, жутко.

Управляющій в высоких голенищах спрашивал—„Что, ежели, будем пахать завтра?

. . . .

У реки жил еловый, лесной царь, его венчанныя ветви берегли белок и птичек. У него был на носу, между глаз, сучек, а из глазок иногда смола вытекала. И весь лесной царь пахнул смолой.

Сюда приходили только на поклоненіе и приносили малининки и землянику, на листиках и клали к подножію царя.

Милый царь! Царь благословлял, а мурашики уносили малинку: царь принимал жертву.

И еще любили очень духа березы. у него был белый атласный лобик и глаза из мха.

Его по утрам целовали в атласный лобик.

Он светлый, давній; еще и никого и ничего не было, а лобик атласнаго духа был.

По атласу сквозь тени пробегает золотце.

Собираются идти за мохом и красными ягодками брусники, для зимних рам.

Придет оно! Придет оно! Ах, бежим, бежим скорее ему навстречу.

У сложенных дров сіяют светлыя щепки.

Уж в колеях ломкія белыя звезды и стучит обледенелое ведро у колодца утром, и готовят уроки.

Меж роялью и камином стоят вигвамы из буйволовых шкур, украшенные перьями сойки и жемчугом, и до самаго ковра гостинной, под светом лампы тянется Патагонія.

На берегах Эри и Онтаріо краснеет брусника.

Когда пролетают вожди гордых Павнисов, на долгогривых конях, мимо окон столовой—видят звезды.

Кровати уже отплыли, и кто-то большой и не страшный шумел за стеной.

А комната летела меж крупными звездами, в синих бархатах, и летели вместе темныя башни елок хороводом стражей.

Большіе прекрасные бегемоты, оставляя животами дорожку по золотому топазовому песочку, подходили к цветущим медовым деревьям, и прозрачные, полные соком медовые плоды, падали им в рот.

Стороной, стороной проходили звеня олени.

Над вигвамами кувыркались бисерныя птицы.

В мглистом, мягком небе были опрокинуты дворцы.

А с дворцов звенели колокольчики, потому что за мглистым небом убегали излучистыя, меж садами розовыми, голубыя дорожки.

Голубыя, голубыя, голубыя.

. . . .

Ветер.

Op. 3.

Радость летает на крыльях,
И вот весна,
Верит редактору поэт;
Ну — беда!
Лучше бы верил воробьям
В незамерзшей луже.
На небе о́блака полоса—у́же—у́же...
Лучше бы верил в чудеса.
Или в крендели рыжіе и веселые,
Прутики в стеклянном небе голые.
И что сохнет под ветром торцов
полотно.

С'ехала льдина с грохотом.
Разсужденія прервала хохотом.
Воробьи пищат в весеннем
Опрокинутом глазу. — Высоко.



Было утро все убрано алмазами. По алмазным мхам, — по лугам пушило солнце лучами. Холод далеких-далеких льдов таял в воздухе горячем, с золотыми иголочками... И был Сентябрь.

Недотрога.

Вышел Бог на лес и на луг. Выбежала к опушке белая Недотрогочка в нежную белую овечью шерсть одета, и гордая, — пальцем никому себя тронуть не позволяет.

Грелись пушистыя сосны коротатики, Прокололись сквозь мхи тоненькіе красные грибки, — точно булавочки. И так тихо в лесу стояло и грело Солнце, что захотелось Богу благословить кого-нибудь.

И спрашивает: „Кого благословить мне в солнечном Сентябре?“... И никто Ему не ответил — никто его не видел...

Подбежала Недотрога и говорит: „А я Тебя увидала, Боже!“

Засмеялся Бог и благословил Недотрогу. Засветилась бѣлая недотрога, загорелась вверх песенкой, тонкой, зеленой — как елочка, хрупкой, белой — как свечечка, царственной, — как корона высоких елей.

Услыхали с севера суровые люди, — пришли и спрашивают: „чья—это песня такая королевская? Мы взбирались па ледяные горы почти до звезд, — но не встречали мы там песни прямой и гордой, как свечечка!

И выбежали из леса маленькіе доносчики и выдали:

„Это Недотрогина песня такая королевская! Недотрогу, с белым горлом, благославил Бог в Сентябре“.

Взяли люди песенку в бирюзу и изумруды, и стала она им светить.

Взялись люди ловить Недотрогу, — чтоб была она с ними всякій день: ловили и могли поймать.

Хоронили Недотрогу голубыя сосны, хоронили зеленыя елки: — берегли до весны. . . . Вызвездятся белые цветы по морошкам, засветится Недотрога весне — песней, — как белый венчик, как белая коронка! . . .

Пусть придут с Севера люди спрашивать: „чья — это песнь нам послышалась — Светится, точно белая коронка!

———

Утреннія страны.

Ор. 4.

На земле есть утреннія страны.

Жемчужнокурые великаны живут там.

Эти страны, умытыя влажной темнотой ночи, выходят нечаянной улыбкой на небо и на росную землю.

Вот из сырины заповедных ельников поднимется невинный склон неба — на самую яснину поплывут лучезаринки.

Ясны, улыбчивы облака над голубой круглиной моря.

Неподвижно их вечное удивленье; оно родилось, где легли воздушныя надморныя полосы в вечность, ясность, снежность и сон.

По зеленой прозрачности улыбаются перламутром.

Только в девственно — холодном воздухе утра могут быть великаны.

Они не рождаются между нами.

Так крепок нетронутый воздух, игра, восторг и крылья.

Здесь бодры беги, радужны росы, внезапны нежныя цветочныя звездочки.

Ранняя страна не знает ни любопытства, ни преступленья, и жестокость сладострастія чужда ей.

Звонко по твердой утренней земле бегают веселые добродушные великаны.

Их топот раздается по бережью. Они любят взыграть на самый взбег холма— встать над морем!

Точно где-то воркует гигантскій голубь? Это их гортанные голоса. Они, играя, опрокидывают ногами свои обширныя, голубыя и розовыя чашки с утренним напитком и хохочут за горой. Но чаще их голосов их молчаливыя улыбки.

И не всякій утренній час свеж довольно для чуда — чтобы народился в утренней стране и стал жемчужный.

Тайный миг утренней страны редко подстережешь.

Вот не боясь холода, раскроются белыя звездочки по суровым мхам пустырей.

Черныя острія елок сторожат.

Вот родилась яснина в еще нетронутый свет утра. В этот ключевой прозрачный час, на самый взлобок неба выплывет и встанет удивленное облако, выяснеет на жемчужном его лице улыбка, точно даст знак облачнымъ лебедямъ за море...

Тогда народится, явится великан и побежит по взгорью.

Жемчуговый, добрый и твердый.

Тяжелодушным, непосвященным путь в страну закрыт.

Но кто хочет слышать, слышит.

Из утренней страны к нам являются вести. Между голых ветвей осинки небо прозрачно неизреченной далекостью ясности.

В траве нежданно навострились листочки. У кустов такое выраженье, точно они встрепенулись, к облакам надморья протянулась веточка — это знаки оттуда.

Ах, над нашей знойной землей прохладны жемчужныя льдины.

Твердыя и раннія приходят из утренней страны созвучья. Все, что хочет быть девственным телом завтра и вдохновеніем родилось там.

И мы узнаем всегда тех из нас, кто причастен вздрогнувшей радости ранних лучей. — По крылатым бровям, по непреклонной ясности лба, по гордой затаенной улыбке — можно всегда их узнать.

Камушки.

Op. 5.

По золотому сосно-бережью нежило солнышко. Гладило спинки ласковых камушков, на песчаной ладони берега.

Проснулись камушки, круглились, сіяли, укрылись, урылись бархатным песочком. . . Ах!

Были желанны камушковыя страны... По улегшейся уласканной отмели льнули волны воркуйки. . .

. . . Плескали в горячій бочек отмели. Протекал день по камушкам.

Пришел Ласкунчик, вырыл ямку — глубокую-глубокую. Там спали неро-

дившіеся еще для солнца камушки, черные, слепые: залепил их сырой песок.

И пахло там соленым холодом и соленой глубокой тиной. . .

А наверху солнце святило валунковыя светлыя страны.

Ласкунчик набрал светлые валунчики: — они чирикали точно чайки и журчали меж пальцев.

Стало солнце старинным. Стало большое, малиновое. Село на кочку, распушило лучики.

Воркуйки нежились у отмели — пли.. пли. . .

Больше нельзя играть камушками. Они приникли, прижались к сырому песку и спят. Камушки темные, плоскіе и слепые.

А у отмели невидимым шелком всю ночь нежат говоруйки — пли. . . пли. . . пли. . .



I.

С. Мясоедев.

В дороге.

Все та же унылая Диркянская страна мелькала перед глазами. Верно уж с полгода еду я по ней, но все же сколь пріятнее ехать с этим экспрессом по Террессо-Манульской дороге.

Как вспомню сколько я ждал в проклятой Аффіанской станціи, как промучился с мелкими железно-дорожными ветками, так лишь от того, что еду по большой дороге, станет отраднее. Диркяна здесь представляла, почти пустыню; местные жители говорили, что это одна из самых отдаленных провинцій. По счастью я еще умел немного говорить по диркянски; ужасно непріятно не знать языка страны. Обер-кондуктор, с которым я за последнее совместное пребываніе подружился, был сам диркянин, но из-под-столичных и сам, хотя, конечно, и лучше меня, но тоже не совсем хорошо понимал местное наречіе; все-таки с его помощью было недурно.

В поезде народу было много, со всех стран, на моей же скамье сидели моя маленькая дочь и брат. Небо было зеленое, но и грязное; воздух тяжелый и местность неприглядная. Маленькая Лелечка, моя дочь, не хорошо понимала, что едем мы по чужой стране, и ей было тяжело; брат все время хмурился и был не в духе.

В одном месте пейзаж стал веселее: текла речка и на холмиках виднелись замки. Нечто родное в этой стране показалось мне в них, отчасти они содержали знаки Грамса. Лелечка заплакала, а я, в порыве измученнаго чувства, вопросил обер-кондуктора, так как думалось мне, должен же он знать куда идет поезд. „Не печальтесь так", ответил он, „скоро увидите вашу родную землю Блейяну". Я встрепенулся и не поверил; он не настаивал и спокойко прошел дальше щелкать билеты. Странный человек этот обер: обладает большими познаніями, умен и развит, аккуратен в

расщелкиваніи билетов, мягок с кондукторами и безчувствен. Чувств у него как бы совсем нет, и ничего-то он не хочет знать кроме поезда. Для Лелечки, он всегда охотно приносил со станціи кипятку и бутерброды; брата моего почему-то не любил и всегда при его виде безнадежно махал рукой. Брат мой смотрел в окно и безсловесно наблюдал Диркяну. Одно время запропастился мой обер, давно не проходил, но вот я поймал его и прямо спросил: „послушайте, обер, отчего у вас нет чувств?“ Вопрос был несколько комичен, но оберу было все тирко. Он серьезно посмотрел на меня и промолвил: „Разве нужны оберу чувства? там, когда пріеду я к себе, когда не нужно будет мне щелкать билеты, я буду жить и чувствовать, но в этом поезде я только обер“. Что правильно, то правильно, подумал я и спросил, не тяжело ли быть обером? „Отчасти“, загадочно ответил он и молча показал мне на небо, как бы желая обратить мое

вниманіе на что-то. Небо принимало желтоватый оттенок, внутри вагона настроеніе и воздух были отвратительны. Многіе плакали. Поезд со свистом остановился, обер вышел из него и со всей силой прокричал: Диркянскій Джентильев №..., номера я не понял. Я открыл окно, посмотрел вверх и вниз. И там и сям виднелись множества путей и все уходило в безконечность. Пути вошли параллельно земле, и не было возможности подняться или опуститься даже к ближайшему. Обер любезно раскланялся с начальником станціи и получил какія-то инструкціи. Плохо разбирал я очертанія всего безчисленнаго ряда путей, и чужд был мне этот не родной Джентильев.

II.

Была зима и было холодно. Ночь была настолько больше дня, как не было даже в Аффіане. Звезд совсем не было, а верстовые столбы содержали не очень

большое число верст от Терресса, верст до Мануля совсем видно не было. Брат мой все время сомневался, в тот ли мы попали поезд и хотел несколько раз слезать; иногда трудно было его удержать от этого, тогда он начинал любезно разговаривать с публикой в вагоне. Он почти совсем не знал диркянскаго языка, а все же говорил. Конечно, его не понимали. Впрочем он и Блейянскій язык знал далеко не в совершестве. И странно: я в совершенстве говорю по Блейянски, Лелечка еще мала, но научится тоже, обер хорошо знал Диркянскій язык, хотя практика невернаго наречія испортила его язык, но брат мой не владел хорошо ни одним языком, а понемногу зря из'яснялся на всех. В виду этого Лелечка не хотела признать его за дядю и на все мои доводы, что ведь он брат ея отца, она пожалуй, не без некотораго основанія отвечала: „но он не умеет говорить, что же он за дядя.

Зеленое небо желтело не на шутку, в вагоне поговаривали, что скоро граница. Обер об'явил, чтобы готовились к перемене страны, однако не упомянул о таможенном досмотре. На мой об этом вопрос он равнодушно отвечал: „скоро мы въедем в Блейянское царство, но поезд долго будет идти там без остановки. Этот поезд пойдет прямым сообщенiем в царство Келейское или же Ноосянское, еще неизвестно; ведь вы знаете, что с этой дорогой иногда бывают несчастья и отклоненiя“. Сердце радостно забилось во мне, так вот что означало желтенiе неба! Однако, что же это: проезд через Блейяну прямым сообщенiем в царство Келейское? Я вопросительно глядел на обера, который очевидно, понял мое безпокойство и начал меня уверять, правда не доказательно, но с искренним чувством, что все будет обстоять благополучно и неужели меня не утешит хотя бы только вид, пролетающей мимо Блейянской земли...



Скользи своей стезей алмазный *Бурлюк*
Неизсякаемый каскад. *Давид.*
На берегу живу я праздный *Ор. 1.*
И ток твой возлюбить я рад.
Давно принял честную схиму
И до конца каноны треб
Постигши, смерть с восторгом приму,
Как враном принесенный хлѣб.
Вокруг взнеслися остро скалы,
Вершины их вѣнчаны льдом,
В вечерній час хранят опалы,
Когда уж темен скудный дом.
Я полюбил святыя книги,
В них жизнь, моя нѣмая цѣль,
Онѣ полѣзныя вериги
Для духа, в праздности недель,
И пусть к ночи стекло, наяды,
Колеблят легкія, перстом,
Храню единыя услады
В моем забвеніи пустом.
Шумящее весеннее убранство, *Ор. 2.*
Единый миг затерянный цвѣтах.
Напрасно ждешь живое постоянство, *Щастье.*
Струящихся, быстро бѣгущих снах, *Циника.*

Изменно все и вероломны своды,
Тебя сокрывшіе от хлада льдистых
бурь,
Везде, во всем, красивость шаткой моды,
Ах циник, щастлив ты, иди и калам-
бурь!
Молчать возможно лишь в пещере, *Op. 3.*
Там красный крик таить, *Затворник*
Спасаться углубленной вере,
Кратеры смерти пить!
Книг запыленных переплеты.
Как быстро мчатся корабли
И окрыляются полеты
От замурованной земли.
Родился в доме день туманный *Op. 4.*
И жизнь туманна вся.
Ношу венец, случайно данный,
Над бездной ужасов скользя.
Так пешеход, так злой калека,
Косит на радостных детей,
И зла над юностью опека,
Случайной спутницей своей,
Грозит глазам весело людным
Зеленым ивиным ветвям.

И путь безрадостный и трудный
Влачит уныло по полям.
Упало солнце в кровь заката, Op. 5.
К восторгам дня нам нет возврата,
Лишь облаков вечерних дым,
Восходит горестно над ним.
И если кто сейчас умрет
Над тем уж солнце не взойдет,
Лишь облаков вечерних дым
Воспрянет горестно над ним.
На миг один владел тобою, Op. 6.
Золотоокою младой,
И холод бородой седою,
Вот придушил своей бедой.
Уста навек сомкнул бледнея,
Стеклеть глазам он приказал,
И зубы, (белая аллея)
На череп страшный нанизал.
Откроешь вежды, не поверю,
Твой смех завял навек,
И я умру под этой дверью;
Найдет бродячій человек
Склеп занесен свистящим снегом,
Как груди милой, белизной,

Копыто оглашает бѣгом
Забытый путь, свой путь родной;
Проскачет мимо, усмѣхнется,
Сук траур, путь из серебра,
Подкова тяжкая сорвется,
Крошится льдистая кора.

Op. 7.

Бѣгущіе украдкою часы,
Стремительность и медленность тя-
готны,

Для времени сыпучаго вѣсы,
Без вас мгновенія отчаяній несчетны,
Колѣблет бѣг ваш черепа власы,
Скользящіе вперед безповоротны.
На выю лезвіе, несущіе косы
С жестоким тиканьем злорадно без-
заботны.

Op. 8.

Шестиэтажный возносился дом,
Чернѣли окна, скучными рядами,
И ни одно не вспыхнуло цвѣтком,
Звуча знакомыми слѣдами.
О сколько взглядов пронизало ночь,
И бросилось из верхних этажей.
Безумную оплакавшіе дочь
Под стук не спящих сторожей.

Дышавшая на свѣжей высотѣ,
Глядя в окно, под неизвестной крышей,
Сколь ныне чище ты и жертвенно святей,
Упавши вниз, ты вознеслася выше.
Немая ночь людей не слышно, *Op. 9.*
В пространствах царствіе зимы.
Здѣсь вьюга наметает пышно
Гробницы бѣлыя средь тьмы.
Гдѣ фонари, гдѣ с лязгом шумным
Скользят кошмарно поѣзда,
Твой взгляд казался камнем лунным,
Он как погасшая звѣзда.
Как глубоко под черным снѣгом
Прекрасный труп похоронен.
Промчись, промчись же шумным бѣгом,
В пар увіясь со всѣх сторон.
Со звоном слетѣли проклятья, *Op. 10.*
Разбитыя ринулись вниз,
Раскрыл притупленно об'ятья,
Виском угодил на карниз,
Смѣялась вверху колокольня,
Внизу собирался народ,

Старушка была богомольна,
Острил и пугал идiот.
Ниц мертвый лежал неподвижно,
Стеклянные были глаза,
Из бойни, безжалостно, ближней,
Кот лужу кровавый лизал.
Ты окрылил условныя рожденья, *Op. 11.*
Сносить душа их тайны не смогла,
Начни же наконец начни свое
служенье,

Смотрись в излучисто кривыя зеркала.
Неясно все, все отвращает взоры,
Чудовищно создав свое небытiе,
Провалы дикiе и снов преступных
горы,

Ты принял, кажется, погибели питье.
Чудовище тянулось между скал, *Op. 12.*
Заворожив гигантскiя зеницы,
Махровый ветр персты его ласкал,
Пушистый хвост золоторунной львицы,
Огромнейшим теплеющим зигзагом,
Простерлось тело меж колючих трав,
И всем понятней было с каждым
шагом

Как неизбежно милостив удав,
Свои щадя стократныя слова,
Клубилось там, как внятной колыбели,
Чуть двигаясь шептали „раз“ и „два“
А души жуткія как ландыши слабели.
Твоей бряцающей лампадой — *Op. 13.*
Я озарен в лесной тиши.
О призрак смерти пропляши
Пред непреклонною оградой:
Золотогрудая жена
У еле сомкнутаго входа,
Теплеет хладная природа,
Свои означив письмена,
Слепые призрачные взгляды
Округло плавны купола.
Я выжег грудь свою до тла
Обретши брачные наряды
Об'ятій белых жгучій сот.
Желанны тонкіе напевы
Но всеж вернее черной девы,
Разящій неизбежный мед.
На изступленный эшафот, — *Op. 14.*
Взнесла колеблющія главы,
А там упорный черный крот

Питомец радости неправой,
Здесь осыпаясь брачный луг,
Чуть движет крайними цветами,
Кто разломает зимній круг,
Протяжно знойными руками.
Звала тоска и нищета,
Взыскуя о родимой дани,
Склоняешь взор: „не та не та“
Движенья быстроглазой лани.

Op. 15.

Монах всегда молчал,
Тускнели очи странно,
Белела строго панна
От радостных начал;
Кружилась ночь вокруг,
Свивая покрывала.
Живой родной супруг,
Родник двойник металла,
Кругом как сон как мгла,
Весна жила плясала,
Отшельник из металла
Стоял в уюте зла.

Op. 16.

Ты изошел зеленым дымом,
Лилово синій небосвод,
Точась полдневным жарким пылом,

Для неисчерпанных угод,
И может быть твой челн возможный,
Постигнем в знак твоих побед,
Когда настанет непреложный
Все искупающій обет.
Свалившій огнь закатный пламень
Придет на свой знакомый брег,
Он как рубин, кровавый камень,
Сожжет молитвенный ковчег.
Пой, облаков зиждительное племя, *Op. 17.*
Спешащее всегда за нож простора,
Старик, немой, нам обнажает темя,
Грозя гранитною десницею укора.
Прямая цель, как далеко значенье,
Всегда веселые, к нам не придут назад,
Безсиліе слепое истощенье,
Рек воздохнув „где твой цветистый вклад";
Где пышные твои внезапные разсветы
Светильни хладныя зеленыя ночей?
Угасло все, вкруг голос дымной леты.
И ты как взгляд отброшенный ничей.
Упали желтыя изсохшія ланиты

Кругом свилася тишь, кругом слеглася
темь.

Где щечки алыя пьянящія Аниты
О голос сладостный, как стал, ты глух
и нем.

Белила отцветших ланит, *Op. 18.*
Румянцы закатнаго пыла,
Уверен колеблется мнит,
Грудь жертвой таимой изныла.
Приду, возжигаю алтарь,
Создавши высокое место,
Я вновь, как волхвующій царь,
Сжигаю пшеничное тесто.
Изсохшая яркая длань,
Тянись вслед за пламенем острым,
Будь скорое, горнее встань,
Развейся вкруг пологом пестрым.
Твое голубое зерно
Лежит, охлажденным налетом,
К просторам небесным окно,
Очнись же молитвы полетом.
Все тихо, все неясно, пустота, *Op. 19.*
Нет ничего, все отвернулось, странно,
Кругом отчетливо созрела высота

Молчаніе царит, точа покровы прянно.
Слѣпая тишина, глухая темнота,
И ни единый слѣд свой не откроет
свиток,
Все сжало нежныя, влюбленныя уста,
Все как бокал, гдѣ днесь кипел
напиток.

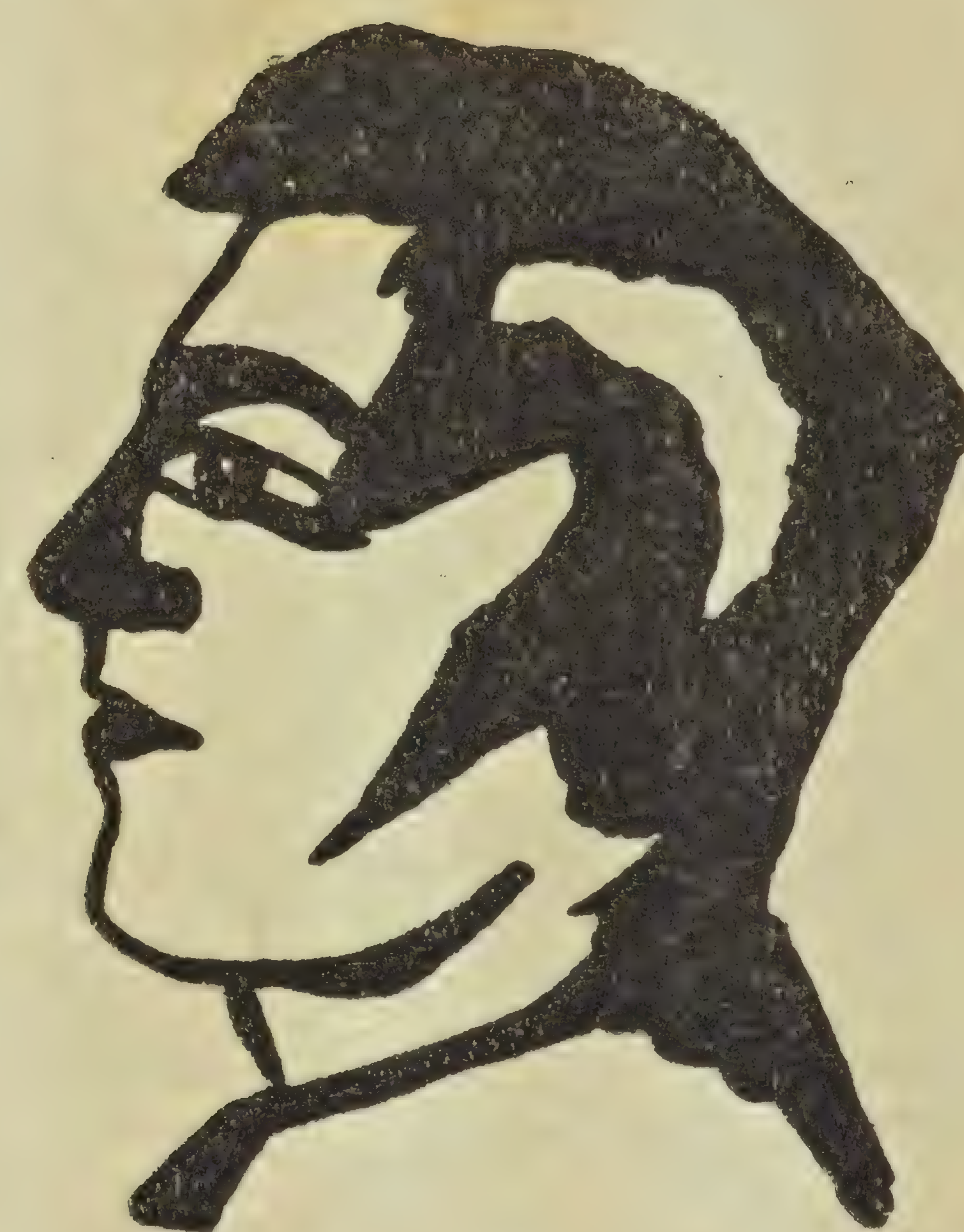
И вдруг почудились тончайшіе шаги,
Полураскрытых уст неизяснимых
шорох,
Душа твердит не двигаясь „беги“,
Склонясь как лепесток язвительных
укорах.

Да это слѣд завядшій лепесток,
Хоть пыль кругом свой завязала
танец,
„Смотри“, шепнул далекій потолок,
„Да здесь прошел невнятный
иностранец“.

А. М. Гей.

Лебедь белый.

Лебедь бѣлая плыла,
Лебедь бѣлая плыла,
И до вечера с утра
Лебедь бѣлая плыла,
Лебедь бѣлую звала,
Бѣлую звала.
И от берега поднялся, стлался, стлался,
Разстилался темный вечер.
И от берега поднялся, вспыхнул,
Рдѣл и разгорался,
Грохотал, горѣл закат.
Лебедь бѣлая отстала,
Лебедь бѣлая устала,
Бѣлую устала звать.
Отражался пятнами пожара,
Без шипенья, без удара,
В блеклом зеркале закат.
И задернулось, вздохнуло
Онемѣло небо-тѣло.



В Хлебников

Зверинец.

Op. 1.

(Пев. В. И.).

О Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг цветущій широким камнем.

Где наряды людей баскущіе.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв — осенней рощице — немного осторожен для него самого.

Где синій красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинскаго камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от

облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны кривляясь, как кривляются во время землетрясенія горы, просят у ребенка поесть влагая древній смысл в правду: есть хоууа! поесть-бы! и приседают точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз ожидая приказанія сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современнаго русскаго.

Где грудь сокола напоминает перистыя тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина мы чтим перваго магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры — затихающія струи волн, разбег которых — виды,

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по разному видеть Бога.

Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.

Где живо напоминает мученія грешников, тюлень с неустанным воплем носящійся по клетке.

Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.

Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит чем груды прочтенных книг.

Сад.

Где орел жалуется на что то, как усталый жаловаться ребенок.

Где лайка растрачивает сибирскій пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.

Где козлы умоляют, продевая сквозь решотку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выраженіе, получив требуемое.

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов как кумиры во время землетрясенія с храмов и крыш зданій.

Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо потом на лапу.

Где видим дерево—зверя в лице неподвижно стоящаго оленя.

Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему что он парит высоко под горами? Или он молится?

Где лось целует через изгородь плоскорогаго буйвола.

Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты с движеніями человека, завязаннаго в мешок и подобный чугунному памятнику вдруг нашедшему в себе приступы неудержимаго веселья.

Где косматовласый „Иванов" вскаки-

вает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его „товарищ“:

Где олени стучат через решотку рогами.

Где утки одной породы подымают единодушный крик после короткаго дождя, точно служа благодарственный молебен утиному — имеет-ли оно ноги и клюв — божеству.

Где пепельно серебряныя цесарки имеют вид казанских сирот

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшагося монгола.

Где волки выражают готовность и преданность.

Где войдя в душную обитель попугаев я осыпаем единодушным приветствіем „дюрьрак!“

Где толстый блестящій морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном груз-

ном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогаго буйвола движется ровно направо и налево как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством — желанный рай столь многих!

Где носорог носит в белокрасных глазах неугасимую ярость низверженнаго царя и один из всех зверей не скрывает своего презренія к людям, как к возстанію рабов. И в нем затаен Іоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтвержденіе в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.

Где вспоминая, что русскіе величали своих искусных полководцев именем сокола и вспоминая, что глаз казака и

этой птицы один и тот же, мы начинаемъ знать кто были учителя русских в военном деле.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на разстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошаго вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какія-то прекрасныя возможности, как вписанное в часослов слово Полку Игорови.

Маркиза Дезес. Ор. 2.

На днях я плясал.
На этой неделе. Какого дня?
Среда, четверг или воскресенье?
В седячей жизни это спасенье.
Знакомые, пріятели, родня.
Устал. Вспотел. Уж отхожу.
Как вдруг какой-то воин: постричься
вам пора-с!
Сказал и ныр в толпу. Я думал: вот
те раз!
Я уже послать ему собрался вызов

Но не нашел в толпе нахала.
Кроме того здес нужно было перейти
какую-то межу.
Я в созерцаніе ушел чьего-то опахала
Из перышек голубеньких и сизых.
Наука-то больно проста: сначала милостивый государь,
А потом свинцом возьми да и ударь.
Да... А потом, глядишь и, парня
Несут кромсат в трупарню.
Делкин. Ха-ха! куда он гнет!
Забавник! И не моргнет!
Перховскій. Ну, я не трушу.
Это и не странно. Лицом имея грушу...
Делкин я бы хотел под мушкою стоять
разок
Глобов. А правда хороши последній
как мазок,
В руке противника горсть спелой вишни
Перховскій Ну тогда и выстрелы немного лишни
И тот кто сумрачен, как инок
Тогда у нас портит поединок
Холст. Е-е-е. Вы правы. Я как-то шел.

Станом стройный сын степей
Влек саблю и серебро цепей...
Лель сходя. В взоров море тонучи
Я стою одетый в онучи.
Все Он чудо! Он прелесть:
Он милка!
От восторга выпала моя челюсть,
Соседка, передайте мне вилку!

Ценитель.

Это тонко. Да! Весьма!
Вы заметили какая нежность письма?

Любитель.

Да! Здесь что-то есть!
Не знаете, здесь можно поесть?

Писатель.

Какой образ, какой образ! Пойду и запишу.

Любитель.

Пойду и что нибудь перекушу.

Ценитель.

Я идучи сюда уже перекусил.
Но он немного здес перекосил,

Писатель.

„Пустыня Хоросеана“.
А это: „Купающаяся Сусанна“

Художник.

Молодец! Молодчинище! Здоровенно!

Писатель.

И все так изысканно, изученно и от-
кровенно.
Бровки, лобик, губки.
Ах, здес есть даже покупки!

Пожилой господин.

Какая прелесть глазами поросенка
смотрит вот с этого холста.
Я бы охотно дал рублей с пол ста
Он в белое во все одет и лапоть с
онучем
Соединен красивым лыком. Склоненіи
местоименія „он“ учим
Могли бы ответить детскіе глаза, спро-
сившему, чем занято
Ныне дитя. Наступят сроки и глав-
ным станет-то,
Что сейчас, как отдаленный гнев и
ужас мерещится,
Так... Я буду рад когда мое имя с
надписью „продано“ на этот холст
навесится.

Но что? Он подает нам руку! Послу-
шай, дорогая, это не полотно,
Что взоры привлекло, как лучшее
пятно.
Ну что-же новый друг! Из холста во-
ображаемаго выдем-ка!
Какая милая выдумка
Заставила вас нарядиться в наряды
Леля?
Или старинная чарующая маска
Готова по сердцу ударить, как новая
изысканная ласка?

Лель.

Мне так боги Руси велели.

Пожилой господин.

Да? Какой вы чудак. Вы чудной.

Лель.

Кроме того я связан в воле одной

Пожилой господин.

Кем полькой, шведкой, Руси дочью?

Лель.

Нет, но звездной ночью
Когда я обещанье дал расточиться в
руси русской рать

И, растекаясь, в битвах неустанно умирать.

П. Г.

Странное обещанье в наш надменный век.
Прощайте, милый человек.

Поэт одетый лешим.

Стан пушком младым золочен
Взгляд мой влажен, синь и сочен.
Я рогат стоячій вышками.
Я космат висячій мышками.
Мои губы острокрайны.
Я стою с улыбкой тайны.
Полулюд, полукозел
Я остаток древних зол.
Мне веселому и милому козлу
Вздумалось прійти с поцелуем ко злу.
Разочаруют, лобзая, уста
И загадка станет пуста.
Взор веселый, вещій, древен
Будь как огнь сотлевших бревен.

Распорядитель вечера слуге.

За Рацаелем пошли.

Кто это пришли?
Слуга Маркиза Дэзес.

Маркиза Дэзес.

Я здесь не чувствую мой вес.
Так здесь все легко и истинно-изыскан-
но. Но что здес лучшее—ответьте-
же, говори-же!
Хорош этот красавца затылок бычій?
И здес совсем, совсем все как в Па-
риже!
И вы прекрасно поступили, вводя
этот обычай!
И чисто все так, сухо,
Какая тонкая обивка. В цвете — уми-
рающая муха?
Мило, мило. Под живописью в ста-
канчиках разставлены цветки?
Духов безсонных котелки?
Так они зовут? Собаки синей коготки?
Не той-ли, которая, живя и паки,
Утратила чутье в душе писателя с
происхожденіем от собаки?

Спутник.

Быть может да, но вот и он...

М. Дэзес.

Вы затрудняетесь найти созвучье —
извольте: Бог-рати он.
Я вам помощница в вашем ремесле.

Спутник.

Да, он Багратіон, если умершіе, уставшіе хворать
И вновь пришедшіе к нам людям-Божья рать.
Смерть ездила на нем, как Папа на осле
И он лежал омыленный в гробу.

М. Дэзес.

О Боже, ужасы какіе. Опять о смерти.
Пощадите бедную рабу.

Спутник.

Я уже вам сказал
Той звездной ночью, что я искал,
Надменный, упорно смерти.
Во мне сын высотник.
Но сегодня я уже не вижу очертаній нуеловимой дичи
Которую я преследовал, вабя и клича,
Дамаск вонзая в шею шура

Коварство маск срывая в стенах Порт-
Артура.

Неутомимый охотник.
То было в годы, когда Петербурга остріе,
как клина,
Родной земли пронзало длины.
Родной земле он делал гроб, весну
замкнув под свод порош.
И был ужасен взгляд, шептавшій „не
Я слыш уповелительный мне голос хорош“.
„смерьте“.
Просторы? Ужас? Радость? Рок?
Не знаю. Единый звук сомкнул распутье
двух дорог.

Маркиза Дезес.

Ах, оставьте... вы все про былое!
Оставьте! Смотрите, я весела, я
воскликнуть готова „былое долой“, я.
Смотрите лучше: вот жена, облеченная
в солнце и только его,
Полулежа и полугреясь всей мощью
тела своего
Поддерживая глубиной раздвинутаго
пальца

Прекрасное полушаріе груди, о взоры,
богомольные скитальцы!
Чтобы сестра рогатую сестру горячим
утолить молоком,
Козу с черными рожками и жестким
языком.
Как сладок и светом пранизанный остер
Миг побратимства двух сестер.
Миг одной из их двух жажды
Сделал мать дочерью, дочь матерью,
родством играя дважды.
Не сетуйте на мой нескладный образ
Но в этом больше смеха, сударь, а я по
прежнему к вам добра-с.
Пожимает, смеясь руку.

Спутник.

Царица, нет — богевна!
Твои движенія сегодня так напевны.

Дезес (смеясь).

Право! вот я не знала!
Но вставайте скорее с колен. Я подарю
вам на память мое покрывало.
Но тише, тише, сядем
Мы все это уладим.

Спутник.

Я знаю, что смерьте, кричал мне голос:
Ваш золотой и длинный волос!

Дэзес.

Да. Тише, тише. Слышите, там смеются.
Это — Меййер.
Сядьте сюда. Передайте мне веер.

Рафаель.

Меня звали? Я надеюсь увидеть Вану
Вія и Микель-Анджело?
В толпе движенье. Кто-то. Вы пьяница?
Отчего у вас такой нос? Или
посвежело?

Рафаель.

Я не знаю. Италія
Любит вино, огненно-красное света лія.

Распорядитель к Рафаелю.

А, да, вино! Да, да! пришли!

Слуга, заикаясь.

Рафаель — они изволили, т. е. пришли.

Распорядитель.

То есть как пришли? Ты мелешь братец
чепуху!

Слуга.

Я перед вами как на духу!

Распорядитель.

Но это недоразуменіе! Может быть вы не туда звонили!

Или в самом деле Рафаеля имя шутник присвоил? Или? —

Рафаель (с легким поклоном).

Мне при рожденіи святыми отцами имя Рафаеля некогда дано.

Распорядитель.

Убил! Убил! — вино!

(К слуге).

Олух! Олух! ду...

Рафаель.

Я вызвал у вас какой-то переполох, какую-то беду...

Я не думал... Я думал встретить Микель-Анджело.

Распорядитель.

Ах, все так вздорожело!

(Пожимая руку Рафаелю).

Ах, я не могу! Я не могу! Здесь путаница вышла.

Во всем вините, пожалуйста, слугу.
Я убегу. (Убегает).

Слуга.

Ишь куда повертывает, таковскій, дышло...

Зритель.

Да, Санціо, живопись им не нужна.
О они кой в чей другом узнали толк:
Строй пушек, готовых жидким, трезвость
изгоняя, выстрелить огнем, их
хочет полк.
Какого же еще вам надобно рожна?

(Уходит).

Кто-то.

О, Рафаель вино и Рафаель другой —
улыбка ведем.
Ну что-же, в путь обратный — едем.

(Рафаель и незнакомец уходят).

Рыжій поэт.

Я мечте кричу: пари-же
Предлагая чайку Шенье,
Казненному в тот страшный год в Париже,
Когда глаза прочли: чай, кушанье.
Подымаясь по лестнице
К прелестнице

Говорю: пусть теснится
Звезда в реснице.
О Тютчев туч! какой загадке
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Совы тебе моя земля?

Слуга.

Одни поют, одни поют
И все снуют и все снуют
Пока дают живой уют.

(Зрители проходят и уходят. М. Дэзес и Спутник в боковой горнице).

М. Дэзес.

То отрок плыл, смеясь черными глазами,
И ветки черныя усов сливались с звездными лозами.
Я звездный мір, зная над собой, была права.
И люди были мне березке как болотная трава.
Но что это? Переживаем-ли мы вновь таинственный потоп.
Почувствуй, как жизнь отсутствует, где-то ночуя,

И как кто-то другой воскликнул: так
хочу я!
Люди стоят застыло, в разных ростах,
и улыбаясь.
Но почему улыбка с скромностью
ученицы готова ответить: я из
камня и голубая-с.
Но почему так безпощадно и без
надежды
Упали с вдруг оснегизненных тел
одежды!
Сердце, которому было доступны все
чувства длины,
Вдруг стало ком безумной глины!
Смеясь, урча и гогоча,
Тварь возстает на богача
Под тенью незримой Пугача
Они рабов зажгли мятеж.
И кто их жертвы? мы те-же люди,
те-ж!
Синія и красно-зеленыя куры
Сходят с шляп и клюют изделье
немчуры.
Червонныя заплаты зубов,

Стоящих, как выходцы гробов.
Вон скаля зубы и перегоняя скачет
горностаев снежная чета,
Покинув плечи, и ярко-сини кочета.
Там колосится пышным снопом рожь.
И лица людей передают ей дрожь.
Щегленок вьет гнездо в чьем-то
изумленном рте
И все приблизилось к таинственной
черте.
Лапки ставя вместе, особо-ль,
Там скачет чей-то соболь.
Щегленок-сын булавки!
И все приняло вид могильной лавки!
Там в живой и синiй лен
Распались тела кружева.
И взгляд стыдливо просветлен,
Той, которая внизу камень, взором жива.
Все стали камнями какого-то сада
И звери бродят безпечные и беззабот-
ные среди них—какая досада:
В ея глазах и стыд и нега
И ответ бледный от другого брега
Пощадою оставлен легкiй ток

Полузаслоняя вид нагот.
Взор обращен к жестокому Судье.
Там полубоязливо стонут: Бог,
Там шепчут тихо: Гот
Там стонут кратко Дье!
Это налево. А направо люди со всем
пылом отдались веселью.
Не заметив сил страшных навоселья.

Спутник.

Бежим. Бежим отсюда, о госпожа!

М. Дэзес.

Но что это? Ты весь дрожишь? Ты
весь дрожа?
Но спрашивать не буду. Куда-же мы
идем, мой „мой“?

Спутник.

В счастье, в счастье, божество спа-
сающее глаз тьмой!
Мои именія мне принесут земную мощь!
В „вчера“ мы будем знать улыбку тещ.
Но нет! не скучно - ли быть рабом
покорным суток.
Нет, этот путь, как глаз раба, печаль-
ный жуток!

Убійца вещей, я в сердце міру нож
свой всуну!
Божество. Стать Божеством. Завидовать Перуну.
Я новый ужас влагаю в „смерьте“.
Повелевая облаками, кидать на землю
белый гром...
Законы природы, зубы вражды ощерьте!
Или несите камни для моих хором.
Собою небо, зори полни я,
Узнать как из руки дрожит и рвется
молнія...

Мар. Дэзес.

Успокойся, безумец, успокойся!

Спутник.

Сокройся, неутешная, сокройся!
Твоя печаль и ты, но что ты рядом с
роком значишь?

Марк. Дэзес.

Но ты весь дрожишь? Ты плачешь?

Спутник.

Так! Я плачу, Чертоги скрылись, волшебные с утра.

Развеяли ветра. Над бездною стою. Не
„ять“ и „е“, а „е“ и „и“!
Не „ять“ и „е“, а „е“ и „и“! Голос
не умолкшій смерти.
Кого — себя! Себя для смерти! Себя
взиравшаго! о верьте, мне поверьте!

Маркиза Дэзес.

Ты мрачен, друг. Бежим, бежим!
Слышишь, как умолкло странно все
вокруг, и в тишине внезапной наростая,
Бежим сейчас войдут к нам горностаи.
И заструятся змейки узких тел.
О бежим, бежим? Ты не можешь? Ну
тогда я одна бегу!
Я не Дэзес. Я русская, я русская по-
верь.
Дай я тебя на прощанье поцелую.
Сейчас! Сейчас. Бегу. Бегу. Бегу.
Еще последній раз. Нет, что сделал
ты со мной? Я не могу!
Что сделал ты со мною бедной?
Я не могу уйти от тебя: покорная
тебе



Спутник.

Бог от „смерти“ и бог от „смерьти“!

М. Дэзес.

С твоей руки струится мышь. Перчат-
ка с писком по руке бежит.
Какая резвая и нежная она!
Так! что-то надвигается, Я уже дрожу.
Но подавляю гордо болезненную улыб-
ку уст.

Спутник,

Бежим!

М. Дэзес.

Хорошо. Я бегу. Но я не могу:
Жестокій, что ты сделал? Мои ноги
окаменели!
Жестокій! Ты смеешься? Уж не со-
звучье ли ты нашел „Нелли“?
Безжалостный прощай! Больше я уже не в состояніи подать тебе руки, ни ты мне. Прощай!

Спутник.

Прощай. На нас надвигается уж-что-
то. Мы прирастаем к полу,

Мы делаемся единое с его камнем.

Но зато звери ожили. Твой соболь поднял головку и жадным взором смотрит на обнаженное плечо. Прощай!

М. Дэзес.

Прощай! Как изученно и стройно забегали горностаи!

Спутник.

С твоих волос с печальным криком
сорвалась чайка!

Но что это? Тебе не кажется, что мы сидим на прекрасном берегу прекрасные и нагіе, видя себя чужими и беседуя? Слышишь?

М. Дэзес.

Слышу, Слышу! Да мы разговариваем на берегу ручья. Но я окаменела в знаке любви и прощанія и теперь, когда с меня спадают последнія одежды, я не в состояніи сделать необходимаго движенія.

Спутник.

Увы! Увы! Я поднимаю руку, протянутую к пробегающему гарностаю.

И глаз. обращенный к пролетающей чайке. Но что это? и губы каменеют и пора умолкнуть. Молчим! Молчим!

М. Дэзес.

Умолкаю...

Голос из другого міра.

Как прекрасны эти два изваянія. Изображающія страсть, разделенную сердцами и неподвижностью.

Да. Снежная глина безукоризненно передает очертанія их тел,

Ты прав. Идем в курильню.

Идем.

(Идут). Я то-же предложить хотел.

Журавль.
Op. 3.
(В. Каменскому).

На площади в влагу входящаго угла,
Где златом сіяющая игла
Покрыла кладбище царей
Там мальчик в ужасе
шептал: ей-ей!
Смотри закачались в хмеле
трубы — те!
Бледнели в ужасе заики губы
И взор прикован к высоте.
Что? мальчик бредит на яву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит:
— какіе страшные скачки!
Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи
Как на стене тень пальцев ворожеи.
Так делаются подвижными дотоле
неподвижныя на болоте выпи
Когда опасность миновала.
Среди камышей и озерной кипи
Птица растеніе главою закивала.
Но что-же? скачет вдоль реки в каком-то
вихре
Железный, кисти руки подобный крюк.

Стоя над волнами, когда оне стихли,
Он походил на подарок на память ко-
стяку рук!
Часть к части, он стремится к вещам
е неведомой еще силой
Так узник на свиданіе стремится на-
встречу милой!
Железные и хитроумные чертоги,
в каком-то яростном пожаре,
Как пламень возникающій из жара,
На место становясь, давали чуду ноги.
Трубы, стоявшіе века,
Летят,
Движеньям подражая червяка игривей
в шалости котят.
Тогда части поездов с надписью „для
некурящих“ и „для служилых“
Остов одели в сплетенныя друг с другом
жилы
Железные пути срываются с дорог
Движеніем созревших осенью стручков.
И вот и вот плывет по волнам, как порог
Как Неясыть иль грозный Детинец от
берегов отпавшійся Тучков!

О Род Людской! Ты был как мякоть
В которой созрели иныя семена!
Чертя подошвой грозной слякоть
Плывут возстанiем на тя, иныя племена!
Из желез
И меди над городом возстал, грозя, костяк
Перед которым человечество и все иное лишь пустяк,
Не более одной желёз.
Прямо летящiя, в изгибе-ль,
Трубы возвещают человечеству погибель.
Трубы незримых духов се! поют:
Змее с смертельным поцелуем была людская грудь уют.
Злей не был и кощей
Чем будет, может быть, возстанiе вещей.
Зачем-же вещи мы балуем?
Вспенив поверхность вод
Плывет наперекорь волне железно стройный плот.
Сзади его раскрылась бездна чорна,
Разверсся в осень плод

И обнажились, выпав, зерна.
Угловая башня, не оставив глашатая
полдня — длинную пушку,
Птицы образует душку.
На ней в белой рубашке дитя
Сидит безумнее, летя. И прижимает к
груди подушку.
Крюк лазает по остову
С проворством какаду.
И вот рабочій, над Лосьим островом,
Кричит безумный „упаду“.
Жукообразныя повозки,
Которых замысел по волнам молній сил
гребет,
В красныя и желтыя раскрашенныя по-
лоски,
Птице дают становой хребет.
На крыше небоскребов
Колыхались травы устремленных рук.
Некоторые из них были отягощеніем чу-
довища зоба
В дожде летящих в небе дуг.
Летят как листья в непогоду
Трубы сохраняя дым и числа года.

Мост который гіератическим стихом
Висел над шумным городом,
Обяв простор в свои кова,
Замкнув два влаги рукава,
Вот медленно трогается в путь
С медленной походкой вельможи, кото-
раго обшита золотом грудь,
Подражая движенію льдины,
И им образована птицы грудина.
И им точно правит какой-то кочегар,
И может быть то был спасшійся из воды
в рубахе красной и лаптях волгарь,
С облипшими ко лбу волосами
И с богомольными вдоль щек из глаз
росами.
И образует птицы кисть
Крюк, остаток от того времени, когда
четверолапым зверем только ведал
жисть.
И вдруг бешеный ход дал крюку воз-
ница,
Точно когда кочегар герострахическим
желаніем вызвать крушенье поезда
соблазнится.

Много — сколько мелких глаз в глазе
стрекозы — оконные
Дома образуют род ужасной селезенки.
Зеленно грязный цвет ея исконный.
И где-то внутри их просыпаясь дитя
оттирает глазенки.
Мотри! Мотри! дитя,
Глаза, протри!
У чудовища ног есть волос буйнее меха
козы.
Чугунныя решетки — листья в месяц
осени,
Покидая место, чудовища меху дают ось
они.
Железные пути, в диком росте,
Чудовища ногам дают легкія трубчато-
образныя кости.
Сплетаясь змеями в крутой плетень,
И длинную на город роняют тень.
Полеты труб были так безпощадно явки
Покрытыя точками точно піявки,
Как новобранцы к месту явки
Летели труб изогнутых піявки,
Так шея созидалась из многочисленных
труб.

И вот в союз с вещами летит поспешно
труп.
Строгія и сумрачныя девы
Летят, влача одежды, длинныя как ветра
сил напевы.
Какая то птица шагая по небу ногами
могильнаго холма
С восьмиконечными крестами
Раскрыла далекій клюв
И половинками его замкнула свет
И в свете том яснеют толпы мертвецов
В союз спещащія вступить с вещами.



